

Другое свойство нигилизма заключается в его почти осязаемой материальности, в его картинности, почти карикатурности, которая так мастерски передается Достоевским. Все его бесы-нигилисты имеют четкий набор признаков, комично ярких, как будто его нигилисты — это не настоящие люди, а ряженные. Все его нигилисты появляются в ярких и неопрятных костюмах, как будто это не обычная одежда, а предметы бутафории, которые сто лет пылились в гримерках и носились не одним поколением актеров. Здесь и засаленные до неприличия пиджаки, и грязные, сальные (снова сальные) шарфы, и отсутствие сорочки при наличии жилета (что очень характерно для театрального гардероба) и т. п. Все это обычно диких крикливых цветов. Говорят нигилисты неприятными, также крикливыми или визгливыми голосами. При этом часто демонстрируют странную неуверенность в себе при всем их пренебрежении к тому, что принято в обществе.

При этом надо заметить, что верующие Достоевского хотя и не демонстрируют такого разнообразия в гардеробе, но одеваются особенно. Это либо траурный наряд, как у матери Рогожина, либо иностранные штiblеты и шинель, как у князя Мышкина. Они как бы находятся либо на полдороге в мир иной (мыслями уже там), либо на полдороге из иного мира (в случае князя Мышкина не только в переносном, но и в буквальном смысле — из-за границы). Такая одежда внешне подчеркивает один общий признак всех верующих Достоевского — их «неотмирность», принадлежность к другому миру.

Портрет матери Рогожина — это удивительный, поражающий своей точностью и краткостью «постулат» (один из главных постулатов), лежащий в основе философии Достоевского и в то же время своеобразное ее резюме. При том что в масштабах романов Достоевского описание матери Рогожина, развернутое едва ли на полстраницы, это ничтожная капля по сравнению со всем сказанным, но в этом портрете, как в настоящей капле, отразился весь мир Достоевского. Это «мимолетное видение», как бы случайно появившееся в романе, являет собой аллегория разума (безумия) и веры:

«В углу гостиной, у печки, в креслах, сидела маленькая старушка, еще с виду не то чтоб очень старая, даже с довольно здоровым, приятным и круглым лицом, но уже совершенно седая и (с первого взгляда заключить было можно) впавшая в совершенное детство. Она была в черном шерстяном платье, с черным большим платком на шее, в белом чистом чепце с черными лентами. Ноги ее упирались в скамеечку. <...>

— Матушка, — сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, — вот мой большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин; мы с ним крестами поменялись; он мне за родного брата в Москве одно время был, много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благословила. Пстой, старушка, вот так, дай я сложу тебе руку...

Но старушка, прежде чем Парфён успел взяться, подняла свою правую руку, сложила пальцы в три перста и три раза набожно перекрестила князя. Затем еще раз ласково и нежно кивнула ему головой.

— Ну, пойдём, Лев Николаевич, — сказал Парфён, — я только за этим тебя и приводил...

Когда опять вышли на лестницу, он прибавил:

— Вот она ничего ведь не понимает, что говорят, и ничего не поняла моих слов, а тебя благословила; значит, сама пожелала... Ну, прощай, и мне, и тебе пора».

Эта миниатюра из примерно двухсот слов в составе огромного романа показывает несколько способов «решения» Достоевским дилеммы об отношениях веры и разума. Старушка Рогожина в силу определенных причин (старости и слабоумия)